

## Глава I. Проблема способа бытия семиотических объектов

Проблема, о которой пойдет речь, не нова и имеет солидную традицию обсуждения. Известные американские литературоведы Р. Уэллек и О. Уоррен пишут: «Прежде чем приступить к анализу различных аспектов произведения искусства, мы должны коснуться чрезвычайно сложной эпистемологической проблемы, которую можно определить как «способ бытия» или же как «онтологическую природу» литературного произведения»<sup>1</sup>. Если проблема будет решена, отмечают они на той же странице, то будет «найден путь к правильному анализу литературного произведения». Сказанное с полным правом можно отнести к анализу любых семиотических объектов: к знаку, знанию, научной теории... Я в принципе не представляю, как можно приступить к их исследованию, не выяснив первоначально, хотя бы гипотетически, где и как они существуют. Должен признаться, что работы, которые посвящены анализу научного знания или литературного произведения, но не начинаются с обсуждения указанной проблемы, для меня просто не представляют интереса, ибо очевидно, что автор сам не знает, о чем говорит.

### Улыбка Чеширского Кота

В чем же сложность проблемы и почему она возникает? Вспомним Льюиса Кэрролла и его знаменитого Чеширского Кота, который исчезал, оставляя свою улыбку. Кот исчезал очень медленно, первым исчез кончик его хвоста, а последней – улыбка, которая долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало. «Д-да! – подумала Алиса. – Видала я котов без улыбок, но улыбка без кота! Такого я в жизни еще не встречала». А действительно ли Чеширский Кот – это такая уж редкость, как полагает Алиса? Думаю, она ошибается: таких удивительных «котов» она встречала много раз и на каждом шагу. Просто она не обращала на них внимания в силу их привычности. Надо быть Ньютоном, чтобы обратить внимание на упавшее яблоко и увидеть в этом загадку.

Мартин Гарднер в своих примечаниях пишет, что «выражение «улыбка без кота» представляет собой неплохое описание чистой математики». Вероятно, это так, но «чистой математики» Алиса еще не знала. Нельзя ли найти нечто более простое? Давайте задумаемся, что, собственно говоря, нас удивляет в этой таинственной улыбке, которая парит в воздухе? Мы привыкли, что свойства, действия или состояния – это всегда характеристики каких-то вещей, какой-то субстанции. Кот может быть белым или черным, он может мурлыкать или улыбаться, но как возможна улыбка без кота? Правда белизна возможна и без белых котов, но это будет, например, белизна снега, мела или листа бумаги. Может быть, кот исчез, а улыбается воздух? Но мы знаем, что воздух не может улыбаться, что вообще каждая вещь тем и отличается от других вещей, что обладает ограниченным набором возможностей. Но если так, то в лице улыбки знаменитого Кота мы имеем действие или состояние,

---

<sup>1</sup> Уэллек Р. Уоррен О. Теория литературы. М., 1978. С. 154

лишенное субстанции, пример характеристики объекта без самого объекта. Мы привыкли, что это возможно в абстракции, но никак не в рамках эмпирической реальности. В эмпирии характеристика без объекта – это то же самое, что и круглый квадрат!

А между тем, любое слово языка демонстрирует нам аналогичный парадокс. Где субстанция слова, можно ли его рассматривать как вещь, обладающую какими-то характеристиками? Характеристики, разумеется, есть, они налицо. Слово «какаду» вызывает у нас определенные ассоциации, а комбинация букв «удакак» таких ассоциаций не вызывает. Мы понимаем почему-то, что «какаду» – это существительное, а «летать» – глагол. Выражение «какаду сидит в клетке» мы воспринимаем как вполне осмысленное и понятное, а выражение «какаду – канон справедливости» заставит нас задуматься и искать какой-то переносный смысл. Характеристики есть, а где субстанция, какой вещи эти характеристики принадлежат? Может быть, материалу слова, то есть определенному набору звуков или пятен краски на бумаге? Но ни упругие колебания воздуха, ни пятна краски не могут обладать указанными характеристиками. Более того, слово можно произносить разными голосами, записывать карандашом или мелом, вырубать на камне... Оно остается тем же самым словом, хотя один материал исчез и появился совсем иной. Может быть, надо говорить о предметах и явлениях, которые мы обозначаем словами? Однако из природы этих явлений никак не вытекает необходимость именно этих слов для их обозначения. Слово – это удивительный объект, оно обладает определенными характеристиками, но не представлено никакой соответствующей субстанцией. Строго говоря, его характеристики не являются свойствами в традиционном понимании, ибо свойства мы привыкли всегда связывать с определенной вещью. Но разве перед нами не аналог улыбки Чеширского Кота?

Вполне понятно, что, столкнувшись с таким удивительным явлением, мы задаем естественный вопрос: а где и как существует слово? Это и есть проблема способа бытия. И очевидно, что названная проблема возникает не только применительно к слову, но и применительно ко всем семиотическим объектам: к любому знаку, знанию, научной теории, литературному произведению... Свод юридических законов может быть вырублен на камне, представлен записями на глиняных табличках или папирусе, напечатан в современной типографии... Разве в рассматриваемом плане это не то же самое? И в центре, где все сходится, слово? Круг рассматриваемых явлений можно значительно расширить, что мы в дальнейшем и сделаем. Представьте себе такое явление, как ректор университета. Сегодня ректором является один человек, а через некоторое время на его место приходит другой. Один из них приобретает характеристики ректора, другой теряет, но едва ли это связано с какими-то субстанциональными изменениями сменяющих друг друга персонажей. Характеристика «быть ректором» как бы повисает в воздухе, она несубстанциональна, она не является атрибутом конкретного человека. Социологи говорят, что быть ректором – это значит занимать определенное место в социальном пространстве. В дальнейшем мы к этому вернемся, ибо это тоже требует разъяснений.

### Загадочные правила

Напрашивается очень простой путь решения проблемы. Часто говорят, что такие несубстанциальные, неатрибутивные характеристики являются продуктом некоторого соглашения, продуктом конвенции. Именно конвенция, образно выражаясь, «склеивает» материал и функцию, материал и его характеристики, которые сами по себе не присущи данному материалу. Но как происходит эта процедура «склеивания»? Вернемся к примеру с ректором. Ректора либо выбирают, либо назначают. В обоих случаях мы имеем какой-то текст, это либо протокол собрания, либо приказ министерства, либо что-то подобное. Однако любой текст и сам представляет собой нечто загадочное, ибо он состоит из слов, а это значит, что, пытаясь решить проблему, мы тут же снова ее порождаем. Другим хорошим примером являются шахматы. Фигурки на шахматной доске тоже обладают неатрибутивными характеристиками, ибо они могут быть сделаны из самого разного материала и сами по себе могут перемещаться по доске любым произвольным образом; участниками шахматных баталий их делают правила шахматной игры, но эти правила опять-таки записаны, т.е. являются обычным семиотическим объектом.

А где эти правила в случае языка и речи? Разве мы говорим по каким-то правилам? «Очевидно,— пишет Н. Хомский,— что каждый говорящий на языке овладел порождающей грамматикой, которая отражает знание им своего языка. Это не значит, что он осознает правила грамматики, или даже что он в состоянии их осознать, или что его суждения относительно интуитивного знания им языка непременно правильны. Любая интересная порождающая грамматика будет иметь дело, по большей части, с процессами мышления, которые в значительной степени находятся за пределами реального или даже потенциального осознания; более того, вполне очевидно, что мнения и суждения говорящего относительно его поведения и его компетенции могут быть ошибочными»<sup>2</sup>.

Итак, каждый говорящий «овладел порождающей грамматикой», но это вовсе не значит, что он может сформулировать ее правила. Он этими правилами овладел, но он их не осознает. Разве это не загадка? Аналогичные высказывания мы встречаем в работах психолингвиста Д. Слобина. «Мы уже не раз отмечали, — пишет он, — что говорящий знает правила своего языка, что в речи ребенка появляются различного рода правила... Слово «правило» может создать у вас впечатление, что психолингвисты предполагают у людей умение формулировать эксплицитные грамматические правила и что дети обучаются этим правилам. Конечно, мы имеем в виду совсем другое. Никто из нас не может, например, сформулировать все правила английской грамматики»<sup>3</sup>. О каких же тогда правилах идет речь? «С точки зрения ученого, — пишет Слобин, — все сказанное означает, что возможно описать поведение говорящего в терминах некоторой системы правил. Однако такое описание не должно ставить перед собой цель доказать, что изобретенные учеными правила реально существуют в сознании индивида в каком-то психологическом

<sup>2</sup> Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972. С. 13.

<sup>3</sup> Слобин Д. Грин Дж. Психолингвистика. М., 1976. С. 103.

или физиологическом смысле»<sup>4</sup>. Как же именно и в какой форме они существуют? Спрашивая это, мы и ставим проблему способа бытия семиотических объектов.

Вырисовывается следующая картина. Наблюдая поведение человека, наблюдая, в частности, практику словоупотребления, мы можем выявить в этом поведении некоторые закономерности или «правила», мы можем эти закономерности более или менее четко сформулировать. Это, однако, не будет означать, что человек в своей деятельности руководствуется этими правилами, что они образуют внутренний механизм его поведения. Существует, следовательно, какой-то другой механизм. Напрашивается следующая естественнонаучная аналогия. Закон Бойля и Мариотта описывает феноменологию «поведения» газа, но вовсе не выявляет внутренний механизм этого поведения. Последний вскрывается кинетической теорией газов. Только эта теория, строго говоря, объясняет нам, что такое газ. Правила грамматики в этом плане очень похожи на феноменологические закономерности, а для решения проблемы способа бытия семиотических объектов нам надо построить нечто аналогичное кинетической теории. Только в этом случае, кстати, мы поймем, какой смысл следует вкладывать в выражения типа «строение знака» или «структура знания». Но мы здесь явно забегаем вперед.

### Трагедия и подвиг Фердинанда де Соссюра

#### 1. Роковые проблемы

Вероятно, впервые и к тому же наиболее остро осознал обсуждаемую проблему один из крупнейших лингвистов конца XIX–начала XX века Фердинанд де Соссюр. Он впервые обнаружил, что в языке нет субстанции. В этом плане очень интересны его отдельные заметки, которые так и не превратились в законченную работу.

«В другом месте мы покажем, – пишет он, – совершенную иллюзорность предположения, что в лингвистике можно выделить один ряд фактов – **ЗВУКИ** и другой ряд фактов – **ЗНАЧЕНИЯ**, по той простой причине, что языковой факт по своей сути не может состоять только из одной из указанных сущностей и для его существования необходимо наличие **СООТВЕТСТВИЯ**, но ни в коей мере **СУБСТАНЦИИ** или **ДВУХ** субстанций»<sup>5</sup>. Нам, действительно, нужно именно соответствие, а не субстанция, ибо соответствие в данном случае не определяется субстанцией. И сколько бы мы ни изучали звуковую субстанцию или субстанцию стола, мы не поймем, почему слово «стол» соответствует тому предмету, на котором стоит мой компьютер. Ну, разве это не парадокс? ~~Именно~~ <sup>Именно</sup> в той мере того как мы углубляемся в предмет изучения лингвистики, – пишет Соссюр, – мы все больше убеждаемся в справедливости утверждения, которое, признаться, дает нам богатейшую пищу для размышления: в области лингвистики связь, которую мы устанавливаем между объектами, предшествует *самим этим объектам* и служит их определению»<sup>6</sup>. По поводу этого последнего высказывания Эмиль Бенвенист пишет: «Это кажущееся

<sup>4</sup> Там же. С. 106.

<sup>5</sup> Соссюр Фердинанд де Заметки по общей лингвистике. М. 1990. С. 129.

<sup>6</sup> Там же. С. 109-110.

парадоксальным положение способно удивить еще и теперь. Некоторые лингвисты упрекают Соссюра за то, что он любит подчеркивать парадоксы в функционировании языка. Но язык и есть как раз самое парадоксальное в мире, и жаль тех, кто этого не видит»<sup>7</sup>.

Соссюр придает большое значение «произвольности связи между смыслом и сомой» или между означаемым и означающим, возводя это в ранг «основополагающего принципа». И это порождает пропасть между лингвистикой и естественными науками, где мы привыкли иметь дело с некоторой материальной субстанцией и ее атрибутами. Очевидно, что смысл языкового знака вовсе не является свойством или атрибутом соответствующей акустической последовательности, а это требует, с точки зрения Соссюра, пересмотра всех понятий лингвистики. «Поскольку языковая деятельность никогда не проявляется в виде <материи [зачеркнуто] субстанции>, – пишет он, – а только в виде комбинированных или изолированных *действий* физиологических, физических, психических сил и поскольку, несмотря на это, все наши разграничения понятий, вся наша терминология, все наши способы выражения отражают это неосознанное допущение о наличии субстанции, приходится признать, что самой существенной задачей теории языковой деятельности является прежде всего прояснение того, как мы разграничиваем основные понятия»<sup>8</sup>.

Лингвисты правы, Соссюр, действительно, умеет видеть парадоксы, ибо не менее парадоксальны и другие его высказывания. Вот характерный фрагмент из его черновых набросков: «В других областях науки существуют заранее данные вещи, объекты, которые можно затем рассматривать с разных точек зрения. У нас же имеются прежде всего точки зрения, и уже с их помощью создаются объекты. ... Это верно даже тогда, когда речь идет о самом что ни на есть материальном факте, казалось бы заранее определенном со всей ясностью, как, например, последовательность произнесенных звуков»<sup>9</sup>. Разве это не парадокс: точка зрения на объект создает этот объект! Может быть, Соссюр оговорился, может быть, – неправильный перевод? Нет. Эта мысль в разных вариантах повторяется несколько раз на одной и той же странице: «Самый общий смысл выдвигаемых нами положений таков, – пишет Соссюр. – В лингвистике запрещено говорить, хотя мы постоянно это делаем, о «каком-либо объекте» с различных точек зрения или об объекте вообще, потому что именно точка зрения и создает этот объект»<sup>10</sup>. Попробуем это разъяснить. Допустим, что мы слышим некоторую последовательность звуков. Очевидно, что сама по себе она может заинтересовать физика, но никак не лингвиста. Для того, что бы эта последовательность стала фактом речи, мы должны связать с ней некоторый смысл, т.е. сформулировать некоторую точку зрения. Только в этом случае появляется и возможность выделить в указанной последовательности какие-то части, например, слова. Но представим себе теперь, что мы слышим несколько разных, хотя и сходных в чем-то звуковых последовательностей. Можно ли считать, что мы имеем дело с

<sup>7</sup> Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 56.

<sup>8</sup> Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике. М., 1990. С. 106-107.

<sup>9</sup> Там же. С. 110.

<sup>10</sup> Там же. С. 110.

одним и тем же фактом? Можно, если с нашей точки зрения эти последовательности выражают один и тот же смысл. И опять-таки точка зрения является первичной и конституирует лингвистический объект. «Языковой факт, – пишет Соссюр, – не существует вне какого-либо отношения тождества. Но отношение тождества зависит от принятой точки зрения, которая может быть разной; следовательно, ни один, даже мельчайший, языковой факт не существует независимо от той или иной точки зрения, которая определяет проводимые нами разграничения»<sup>11</sup>.

Нечто подобное имеет место и за пределами лингвистики, в других гуманитарных науках. Вот, например, как Б. Рассел объясняет, что такое суждение: «Суждение есть нечто такое, что может быть высказано в любом языке: «Сократ смертен» и «Socrate est mortel» выражают одно и то же суждение. И в одном языке суждение может быть выражено разными способами, скажем, различие между «Цезарь был убит в иды марта» и «в иды марта случилось так, что Цезарь был убит» имеет чисто словесный характер»<sup>12</sup>. А стоит ли соглашаться с тем, что два последних предложения, фиксирующие факт убийства Цезаря, действительно имеют одно и то же значение? Во втором предложении появляется особый смысловой оттенок, связанный с выражением «случилось так», которого нет в первом предложении. Вопрос наш, правда, адресован не Бертрону Расселу, а его переводчикам на русский язык, но это в данном случае не имеет значения. Это только еще раз подчеркивает, что существование такого объекта, как суждение, и здесь определяется точкой зрения. Именно наша точка зрения, наше понимание языковых выражений порождает такой объект, как суждение.

У Соссюра все логически последовательно. Если связь между означающим и означаемым произвольна и не определена субстанциально звуками и значениями, значит, она определена какими-то внешними факторами. Соссюр предполагает, что это наши точки зрения. Но как изучать такого рода явления, если они порождены точками зрения самого исследователя, если их нельзя от исследователя «оторвать», представить как некоторый внешний по отношению к нему объект? Сталкивалось ли когда-либо естествознание с такой парадоксальной ситуацией? Вообще говоря, сталкивалось, но об этом мы поговорим позже.

## 2. Горе от ума

Соссюр умел видеть парадоксы, на которые другие не обращали внимания. Это, вероятно, особенность гения. Но именно это обернулось для него драмой мысли, определившей существенным образом некоторые черты его научной биографии.

Уже первый его труд «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках», вышедший в 1878 году, когда Соссюру было чуть больше двадцати лет, стал классическим и, несомненно, сулил автору блестящую научную карьеру. И действительно, всего через два года он успешно защищает докторскую диссертацию и с 1881 по 1891 год читает лекции в Париже в Высшей практической школе. Наконец, в 1891 году он переезжает в Женеву, чтобы в качестве экстраординарного профессора занять кафедру, которая создана специально для него. И

<sup>11</sup> Там же. С. 109.

<sup>12</sup> Рассел Б. Исследования значения и истины. М., 1999. С. 9.

тут происходит что-то непонятное. В полном расцвете сил Соссюр вдруг почти перестает писать. За последние 25 лет своей жизни он публикует всего 28 работ, но большинство из них – это небольшие заметки, объемом не более страницы каждая. Правда, в это же время выходят его основополагающие статьи по литовской акцентуации, но, как показывает А.А. Холодович в своей биографии Соссюра, есть все основания полагать, что идеи этих статей созрели и были сформулированы еще в предшествующий парижский период<sup>1</sup>. И, наконец, в историю языкознания Соссюр входит как автор знаменитого «Курса общей лингвистики», которого он никогда не писал и который составлен его учениками, явно не конгениальными, по записям прочитанных им лекций.

«Что же удерживало его от публикаций? – спрашивает Эмиль Бенвенист в своей статье «Соссюр полвека спустя». – Теперь мы начинаем понимать это. За этим молчанием скрывается драма, которая, по-видимому, была мучительной, которая обострялась с годами, которая так и не нашла выхода. С одной стороны, она связана с обстоятельствами личного порядка, на которые могли бы пролить некоторый свет свидетельства его близких и друзей. Но главным образом это была драма мысли. В той самой мере как Соссюр постепенно утверждался в своей собственной истине, он отдалялся от своей эпохи, ибо эта истина заставляла его отвергать все, что писалось и говорилось тогда о языке. Но, колеблясь перед этим радикальным пересмотром идей, который ощущался им как необходимый, он не мог решиться опубликовать хотя бы самую маленькую заметку, пока фундаментально не обоснованы сами исходные положения теории»<sup>13</sup>. «Он хотел, – продолжает Бенвенист, – заставить понять то заблуждение, в котором пребывала лингвистика, с тех пор как она изучает язык как вещь, как живой организм или как некий материал, подлежащий анализу с помощью технических средств, или как свободную и непрерывную творческую деятельность человеческого воображения. Нужно вернуться к первоосновам, открыть язык как объект, который не может быть сравним ни с чем»<sup>14</sup>.

Вот несколько отрывков из письма Соссюра Мейе от 4 января 1894 года, которые подтверждают точку зрения Бенвениста. Касаясь своих статей о литовской акцентуации, Соссюр пишет: «Но мне порядком опротивело все это, как и вообще трудность написать десять строчек о языке с точки зрения здравого смысла. ...Полная нелепость современной терминологии, необходимость реформировать ее, а для этого показать, что за объект представляет собой язык, взятый вообще, беспрестанно портят мне это наслаждение от моих исторических занятий, хотя мое самое заветное желание – не быть вынужденным заниматься языком, взятым вообще. Против моего желания это кончится, вероятно, книгой, в которой я без энтузиазма и страсти объясню, почему среди употребляемых лингвистических терминов нет ни одного, в котором я нашел бы хоть какой-то смысл. И только после этого, признаюсь, я смог бы возобновить свою работу с того места, на котором ее оставил»<sup>15</sup>.

<sup>1</sup> Холодович А.А. Ф. де Соссюр. Жизнь и труды // Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 666-667.

<sup>13</sup> Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 51-52.

<sup>14</sup> Там же. С. 54.

<sup>15</sup> Там же. С. 52.

«Показать, что за объект представляет собой язык, взятый вообще» – вот задача, которая остановила Соссюра в его конкретных исследованиях, остановила до конца его жизни, в то время как масса рядовых лингвистов спокойно продолжала свое безмятежное существование. Так, может быть, и не стоило браться за эту задачу? Может быть, но Соссюру, вероятно, не позволяла это сделать его непререкаемая научная честность. И невольно в сознании всплывает аналогия между ним и Эйнштейном, который тоже последние десятилетия своей жизни посвятил созданию единой теории поля, так и не решив поставленную задачу. «Прошло десять лет, – пишет по этому поводу А. Пайс в книге об Эйнштейне, – затем еще десять и еще, но положение не изменилось – он все писал и писал без успеха до самой смерти. Возможно, все его усилия были напрасны, но он считал себя обязанным делать то, что казалось ему наиболее важным, и никогда не боялся поступать именно так. Такова была его судьба»<sup>16</sup>.

Соссюр, как нам представляется, не решил поставленную проблему, хотя почти вплотную подошел к этому решению. Но, строго говоря, как мы постараемся показать ниже, для него как лингвиста, окруженного в конкретную проблематику, такое решение мало что давало. Оно расширяло методологический кругозор и помогало более строго сопоставить лингвистику с естественными науками, но вовсе не порождало легко реализуемых исследовательских программ. Скорей всего, оно порождало новые проблемы, и не исключено, что Соссюр в какой-то степени это понимал.

#### **«Морфологические» парадоксы в семиотике**

Итак, язык, равно как и семиотические объекты вообще, нельзя изучать как некоторые вещи, как некоторый материал, они не похожи на минералы, горные породы или на биологический организм, который можно анатомировать. При анализе знака, знания, литературного произведения нам не помогут ни химические реактивы, ни микроскоп, ни нож анатома. А суть в том, что они не имеют субстанции, а, следовательно, и свойств в традиционном смысле слова. Их характеристики не связаны с материалом и как бы повисают в воздухе. Проблему способа бытия семиотических объектов можно поэтому конкретизировать как проблему субстанциальности или атрибутивности. Но тогда возникает принципиальный вопрос. Мы постоянно говорим о строении знания, о структуре художественного текста и т.д. А правомерно ли это? Имеют ли указанные явления, лишённые субстанции, структуру, строение, состоят ли они из каких-то элементов или этикетки? ~~Связь с ориентировочными здесь вопросительными~~ «Можно ли вообразить себе *анатомический* анализ слова? – спрашивает он в одном из фрагментов и отвечает. – Нет. Причина следующая: анатом выделяет в организме такие части, которые *после прекращения* в них жизнедеятельности *тем не менее* остаются *фактами этой жизнедеятельности*. С точки зрения анатомии желудок есть вещь, каковой он является и при жизни с точки зрения физиологии; поэтому анатом никогда не разрезает желудок пополам, а отделяет его, следуя

<sup>16</sup> Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. М., 1989. С. 314.



очертаниям, которые диктуются и устанавливаются жизнью. Они заставляют анатома обходить желудок и не дают ему в то же время возможности спутать желудок с селезенкой или чем-либо иным... Возьмем теперь лишенное жизни слово (его звуковую субстанцию): представляет ли оно собой по-прежнему тело, имеющее некую организацию? никоим образом, ни в коей мере. Действие основополагающего принципа произвольности связи между смыслом и сомой с неизбежностью приводит к тому, что то, что совсем недавно было словом..., оказывается всего лишь аморфной массой...»<sup>17</sup>.

### 1. Волшебство волшебной сказки

И действительно, все известные мне попытки «анатомирования» семиотических объектов так или иначе приводили к парадоксам. Рассмотрим, например, классическую работу В.Я. Проппа «Морфология сказки»<sup>18</sup>, опубликованную впервые в 1928 году. Автор ставит перед собой крайне интересную и смелую задачу – реализовать естественнонаучный подход к анализу волшебных сказок, опираясь на аналогию с морфологией растений. Русские волшебные сказки знакомы нам с детства, все знают о Бабе-Яге и избушке на курьих ножках, все помнят, как гуси-лебеди унесли Иванушку, и многое другое. Вообще-то волшебные сказки очень разнообразны и по сюжетам, и по характеру действующих лиц. И, тем не менее, Пропп показал, что все они, несмотря на их видимое разнообразие, имеют одну и ту же скрытую структуру. Оказалось, что, как бы ни менялся характер действующих лиц, их функции остаются в основном постоянными. Допустим, например, что в разных сказках нам встретились такие эпизоды: 1) царь посылает Ивана за царевной, и Иван отправляется; 2) сестра посылает брата за лекарством, и брат отправляется; 3) кузнец посылает батрака за коровой, и батрак отправляется. Здесь в качестве инвариантов выступают две функции: отсылка и выход в поиск. Что же касается персонажей, мотивировки отсылки и прочее, то это «величины» переменные. Оказалось, что число функций ограничено (31 функция), а последовательность их всегда в основном одинакова. Это, несомненно, очень интересно. Как это проявляется в другой своей работе – «Исторические корни волшебной сказки»<sup>19</sup>. Древней основой сказки, с его точки зрения, является магический обряд инициации, широко распространенный в родовых обществах, обряд, в ходе которого юношей и девушек переводили в полноправных членов племени. Пропп пишет: «Совпадение композиции мифов и сказок с той последовательностью событий, которые имели место при посвящении, заставляет думать, что рассказывали то самое, что происходило с юношей, но рассказывали это не о нем, а о предке, учредителе рода и обычаях, который, родившись чудесным образом, побывал в царстве медведей, волков и пр., принес оттуда огонь, магические пляски (те самые, которым обучают юношей) и т.д. Эти события вначале не столько рассказывались, сколько изображались условно драматически... Посвящаемому здесь рассказывался смысл тех событий, которые над

<sup>17</sup> Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике. С. 162.

<sup>18</sup> Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969.

<sup>19</sup> Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.

ним совершались. Рассказы уподобляли его тому, о ком рассказывали. Рассказы составляли часть культа и находились под запретом».<sup>20</sup>

Мысль Проппа сводится к следующему: первобытный обряд инициации сопровождался рассказом, истолковывающим его содержание; обряд умер, а рассказ продолжает жить до сих пор и передается от поколения к поколению. Иными словами, волшебная сказка, которую мы слушаем в детстве и которую сами рассказываем или читаем своим детям, – это некое подобие волны, докатившейся до нас от древних времен магических охотничьих ритуалов.

Но вернемся к морфологии сказки, как ее себе представляет Пропп. В каждой сказке, как и в любом художественном произведении, есть действующие лица, которые как-то взаимодействуют друг с другом. Это и есть «морфология» данной конкретной сказки. Пропп обнаружил, что если построить некоторое обобщенное описание такой «морфологии», заменив конкретных действующих лиц переменными и типологизировав функции, то мы получаем одну и ту же структуру для всех волшебных сказок. Это, разумеется, очень интересный результат, это открытие, значение которого я не склонен отрицать. Именно это открытие дало Проппу основания для выявления исторических корней волшебной сказки. Но построил ли Пропп морфологию? Сам он позднее писал, что решить эту задачу не удалось, что он выявил не морфологию, а композицию сказки. «Я должен признаться, – писал он, – что термин «морфология», которым я когда-то так дорожил и который я заимствовал у Гете, вкладывая в него не только научный, но и какой-то философский и даже поэтический смысл, выбран был не совсем удачно. Если быть совершенно точным, то надо было говорить не «морфология», а взять понятие гораздо более узкое и сказать «композиция» и так и назвать: «Композиция фольклорной волшебной сказки»<sup>21</sup>.

А как же с морфологией? Ведь задача состояла именно в том, чтобы выявить структуру, строение сказки. Пропп ведь признает, что термин был выбран не случайно, что он был для него очень значим. Чем же обусловлен отказ от этого термина, а, следовательно, и от аналогии с морфологией растений, которая явно присутствовала в работе? Пропп этого не объясняет, но это достаточно очевидно. Сказка существует реально в физическом пространстве и времени, а действующих лиц, образующих ее структуру, никогда реально не существовало. Как реальный исторический объект может состоять из несуществующих элементов? Разве не парадокс! И действительно, какая же это морфология? Это можно понять только как волшебство волшебной сказки.

## 2. «Волшебный треугольник»

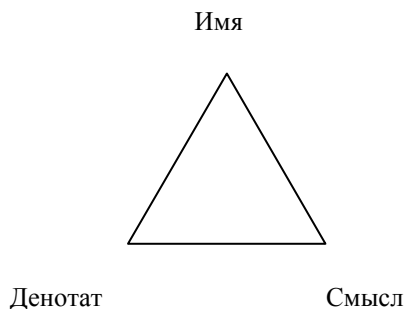
Любопытно, что тот же самый парадокс повторяется и в других случаях исследования морфологии семиотических объектов, что явно показывает наличие здесь некоторой закономерности. Рассмотрим сравнительно простой пример, который плюс ко всему понадобится нам и в дальнейшем. Вспомним теорию собственных имен Готтлоба Фреге, известного логика и математика, который вряд ли нуждается в рекомендациях. Собственное имя типа «Вальтер Скотт» можно, согласно

<sup>20</sup> Там же. С. 354-355.

<sup>21</sup> Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 141.

этой концепции, представить в виде треугольника, вершины которого – это имя как таковое, денотат, т.е. обозначаемый предмет, и смысл. Под смыслом при этом Фреге понимает «конкретный способ задания обозначаемого»<sup>22</sup>, т.е., вероятно, знание каких-то его признаков. Например, выражения «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» обозначают один и тот же объект, планету Венера, но имеют разный смысл, ибо выделяют этот объект по разным признакам.

Схемы, подобные треугольнику, постоянно встречаются в литературе по семиотике. Иногда их называют треугольником Фреге, иногда треугольником Огдена–Ричардса, иногда семантическим треугольником. Существуют различные варианты их интерпретации, не имеющие, однако, для нас принципиального значения, т.к. вопрос, который нас интересует, может быть с равным правом поставлен относительно всех существующих здесь вариаций. А вопрос звучит так: что



изображают или что вообще могут изображать подобного рода схемы? На первый взгляд, перед нами изображение некоторой структуры, некоторого строения. Рисунок напоминает структурную химическую формулу, в которой какие-то «атомы» помещены в вершины треугольника, образованного соответствующими связями. Но можно ли это так понимать? Обратите внимание, имя «Вальтер Скотт» постоянно произносится или пишется, т.е. реально существует в нашем обиходе, а вот шотландский писатель, носивший это имя, давно умер. Могут ли они входить в качестве элементов в состав одного и того же «соединения»? Вероятно, нет. А как быть со смыслом? Если имя – это пятна краски или звуковые колебания, то где существует смысл? Иногда говорят, что «смысл (или концепт) – это постулированный абстрактный объект с определенными постулированными свойствами».<sup>23</sup> Иными словами речь идет о некотором идеальном объекте. Но если так, то семантический треугольник становится подлинно волшебным. Представьте себе такую фантастическую структуру: у пирса стоит вполне реальный корабль, матросы набраны из команды Христофора Колумба, а командир – капитан Немо. Разве это не похоже на семантический треугольник?

А что собой представляют связи между выделенными «элементами»? Очевидно, что они никак не обусловлены материалом и свойствами самих этих «элементов». Если нам дано некоторое множество имен и соответствующих предметов, то человек, не знающий языка, никогда не установит, как называется тот или иной предмет. Мы предполагаем, разумеется, что он не пользуется при этом услугами носителей языка, а исходит только из анализа материала имен и предметов. Все это уже давно известно и было сформулировано Ф. де Соссюром в форме принципа произвольности языкового знака. Но что же тогда мы делаем, выделяя в знаке имя, смысл и денотат, и что изображает так называемый семантический треугольник? Мне представляется, что мои коллеги, гуманитарии, не очень-то озабочены

<sup>22</sup> Фреге Г. Логика и логическая семантика. М., 2000. С. 231.

<sup>23</sup> Черч А. Введение в математическую логику. М., 1960. С. 343.

этим вопросом. Интуитивно все мы, так или иначе, полагаем, что имя вовсе не связано с денотатом, что связывает их человек в своей речевой практике, что смысл – это наше понимание знака, а семантический треугольник фиксирует некоторые мнимые связи. Однако на схеме все это отсутствует, нет там ни человека, ни его деятельности, ни его «понимания».

Как же возникает этот фантастический треугольник, в чем его тайна? Представьте себе, что вы формулируете правила шахматных ходов. Можно сказать так: «Слона надо перемещать только по диагоналям». Правило звучит в этом случае как предписание, адресованное игроку и диктующее ему определенный способ действия с деревянной фигуркой на доске. Но возможна и другая формулировка, которая очень часто встречается: «Слон ходит только по диагоналям». В этом случае самой деревянной фигурке как бы приписывается некоторая избирательность, некоторое свойство, которое реально у нее отсутствует. Но в такой же степени возможны две разных формулировки применительно к имени: 1. Именем «Вальтер Скотт» мы обозначаем шотландского писателя; 2. Имя «Вальтер Скотт» обозначает шотландского писателя. В этом свете треугольник Фреге фиксирует не строение, не структуру, а некоторое общее правило использования имени. Правило это гласит: именем следует обозначать некоторый предмет, выделенный нами по таким-то признакам. Но, как и в случае с шахматами, это правило можно сформулировать и иначе. «Мы будем говорить, – пишет А. Черч, – что имя *обозначает* или *называет* свой денотат и *выражает* его смысл. Мы можем сказать и короче, что имя *имеет* данный денотат и *имеет* данный смысл. О смысле мы говорим, что он *определяет* денотат или что он есть *концепт* этого денотата».<sup>24</sup> Вот и возникает семантический треугольник, который создает иллюзию атрибутивности, иллюзию наличия реальных связей, иллюзию какой-то структуры. Однако реальные связи надо искать в совсем другом мире.

### 3. Мир идеальных объектов

Приведем еще один пример, связанный уже с анализом не сказки или имени, а научной теории. Вот что пишет по этому поводу один из ведущих наших специалистов по философии науки В.С. Степин: «Своеобразной клеточкой организации теоретических знаний на каждом из его подуровней является двухслойная конструкция – теоретическая модель и формулируемый относительно нее теоретический закон».<sup>25</sup> Как же устроены теоретические модели? «В качестве их элементов, – продолжает В.С. Степин, – выступают абстрактные объекты (теоретические конструируемые) которые находятся в строго определенных связях и отношениях друг с другом». Надо уточнить, что понимается под абстрактными объектами. На одной из предыдущих страниц автор, противопоставляя эмпирическое и теоретическое исследование, дает следующий ответ на этот вопрос. «Но и язык теоретического исследования отличается от языка эмпирических описаний. В качестве его основы выступают теоретические термины, смыслом которых являются теоретические идеальные объекты. Их также называют идеализи-

<sup>24</sup> Там же. С. 19.

<sup>25</sup> Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996. С. 217.

рованными объектами, абстрактными объектами или теоретическими конструктами».<sup>26</sup> Итак, в качестве элементов теоретической модели выступают смыслы теоретических терминов, «которые находятся в строго определенных связях и отношениях друг с другом». Интересно, какие же это связи? И тут мы получаем совершенно неожиданный ответ, правда не в общей форме, а в виде конкретного примера. «Например, если изучаются механические колебания тел (маятник, тело на пружине и т.д.), то чтобы выявить закон их движения, вводят представление о материальной точке, которая периодически отклоняется от положения равновесия и вновь возвращается в это положение. Само это представление имеет смысл только тогда, когда зафиксирована система отсчета. А это – второй теоретический конструкт, фигурирующий в теории колебаний. Он соответствует идеализированному представлению физической лаборатории, снабженной часами и линейками. Наконец, для выявления закона колебаний необходим еще один абстрактный объект – квазиупругая сила, которая вводится по признаку: приводить в движение материальную точку, возвращая ее к положению равновесия».<sup>27</sup> Но подумайте, что же это такое? Неужели смысл термина «квазиупругая сила» способен приводить в движение смысл термина «материальная точка»? Не слишком ли это, господа! Неужели смысл термина «мышь» может быть пойман и беспощадно съеден смыслом термина «кошка»? И вообще, как это возможно, чтобы структуру теории как реального социокультурного явления составляли идеальные объекты, существенным свойством которых является то, что они реально не существуют. Это, как нетрудно видеть, тот же парадокс, что и у Проппа, что еще раз подчеркивает закономерность подобного рода парадоксальности.

Нет, речь идет не о случайных ошибках того или иного автора, а об устойчивой традиции, которая постоянно воспроизводится то на одном, то на другом материале, уходя своими корнями в далекое прошлое. Мы сталкиваемся здесь с проблемой, которая, как мы полагаем, является кардинальной для любой области гуманитарного знания. Она в следующем: что мы должны изучать, говоря о морфологии сказки или любого литературного произведения вообще, содержание этого произведения или то «устройство», благодаря которому это содержание существует? Иными словами, должны мы искать эту морфологию в нашем пространстве и времени или во внутреннем пространстве и времени соответствующего произведения? Надо сказать, что традиционно анализ морфологии (состава, строения) всегда был связан с задачами объяснения наблюдаемых свойств. Так, например, обстоит дело при исследовании структуры кристаллов или при изучении анатомии и физиологии животных и растений. Что же нуждается в объяснении, если речь идет о строении литературного произведения? Прежде всего, вероятно, то, что пятна краски на бумаге, именуемые текстом, способны таким удивительным образом воздействовать на наше сознание, порождая там то или иное содержание. В анализе, следовательно, нуждается не это содержание, а нечто другое, что порождает его посредством простой аналогии. Представьте себе зеркало, в котором отражается ринг и бой боксеров. Возможны

<sup>26</sup> Там же. С. 194.

<sup>27</sup> Там же. С.218.

различные подходы к изучению этой ситуации. Во-первых, можно изучать зеркало, его свойства, его строение. Это один подход. При этом нам будет безразлично, что именно отражается в зеркале в данный момент. Важно выяснить, что такое зеркало, как оно устроено и как и почему возникает отражение. При этом было бы крайне странно говорить, что зеркало в данный момент состоит из боксеров, которые пытаются нокаутировать друг друга. В такой же степени нельзя выразиться и в более общем плане, сказав, что отражение – это набор особых зеркальных объектов, взаимодействующих друг с другом. Зеркало – это стекло, покрытое с одной стороны амальгамой, а изображение возникает за счет отражения световых лучей. Все происходящее подчиняется законам оптики, но никак не правилам проведения боксерских соревнований. Возможен, однако, и другой подход: нас может интересовать, что именно отражено в зеркале. В этом случае, наблюдая отражение, мы его интерпретируем как нечто происходящее за пределами зеркала. Само зеркало нас при этом почти не интересует, нас интересует поединок боксеров. Правда, наблюдаем мы этот поединок именно в зеркале и поэтому должны учитывать возможные искажения. Иными словами, мы должны различать реальные объекты и, если можно так выразиться, «зеркальные конструкторы». Можно заменить зеркало изображением на киноэкране или на экране телевизора, и наша аналогия станет еще более полной, ибо объекты в зеркале всегда имеют своих реальных прототипов, чего нельзя сказать о сказочных героях или о героях на экране.

Великая магия текста как раз в том и состоит, что мы видим прежде всего мир действующих лиц, а вовсе не то устройство, которое вызывает их к жизни. И поэтому, говоря о строении, о морфологии такого рода произведений, мы постоянно идем по пути В.Я. Проппа, хотя, строго говоря, строение надо искать совсем в другом. Точнее, любой текст имеет далеко не одну морфологию: он имеет морфологию содержания и морфологию «устройства», которое это содержание порождает. Это как и в случае калейдоскопа, где можно описывать и калейдоскоп как таковой, и те узоры, которые в нем возникают. Нельзя только смешивать одно с другим. Но смешение происходит, ибо мы невольно поддаемся магии текста.

### **Ходы в лабиринте**

В семиотике и эпистемологии существует несколько направлений в решении этой проблемы. Рассмотрим некоторые из них, которые мне представляются тупиковыми для гуманитарной науки.

#### **1. Физиология как спасительная соломинка**

Одно из этих направлений апеллирует к физиологическим процессам в мозге. Вот как начинается книга Г.Хакен, М. Хакен-Крелль «Тайны восприятия»: «Читая эти слова, Вы, конечно же, понимаете, что книга, которую вы держите в руках – это часть реального мира. Но осознаете ли Вы, что эта книга существует и в Вашем мозге? Скорее всего, Вы согласитесь с этим: да, существует – как идея. Исследователи мозга возразят: нет, книга существует в мозге совершенно материально. Как это возможно? Ну, скажем, в виде электрических и химических

процессов»<sup>28</sup>. Я ни в коем случае не отрицаю значения физиологии мозга, но едва ли такой физиологический подход должен удовлетворять представителей гуманитарной науки. Неужели анализ «Войны и мира» мы будем сводить к исследованию процессов в нервных клетках? И, тем не менее, мы имеем немало сторонников такой позиции и среди гуманитариев. Думаю, что это некоторое иллюзорное самоутешение.

Возьмем в качестве примера книгу американского лингвиста У.Л. Чейфа «Значение и структура языка», вышедшую в свет через 55 лет после знаменитого «Курса общей лингвистики». Книга Чейфа – это не рядовая публикация. «Не без веских на то оснований, – отмечает С.Д. Кацнельсон в своем послесловии, – она претендует на роль программной декларации нового направления, призванной сменить как дескриптивную лингвистику, эту американскую разновидность структурализма, так и новейшее направление в истории американского языкознания – порождающую грамматику Н. Хомского и его единоплебников»<sup>29</sup>. Для Чейфа направлением, которым противостоит книга Чейфа, характерно, с точки зрения автора, недоверие к семантическим данным и вытекающее из этого пристрастие к фонетике. «Сопутствующим фактором, который особенно усилил фонетический крен в нынешнем столетии, – пишет Чейф, – явилось влияние на лингвистику, так же как и на психологию, убеждения, что прогресс науки возможен лишь в том случае, если ограничить свой интерес «жесткими фактами», т.е. фактами непосредственно наблюдаемыми, например, фактами поведения или воспроизведения звуков. Наблюдение над значением в значительной степени зависит от интроспекции, а данные, полученные таким образом, считались слишком непостоянными и слишком субъективными, чтобы наука могла принимать их всерьез»<sup>30</sup>.

Мы привели эту цитату, преследуя две цели: во-первых, она характеризует ситуацию в языкознании, во-вторых, показывает, как сам Чейф осознает метод своей работы. Этот метод – интроспекция. Именно интроспекцию он и проповедует в своей книге. Остановимся на этом несколько более подробно. Автор полагает, что «идеи или понятия являются реальными сущностями в сознании людей и что посредством языка они обозначаются звуками, так что могут быть переданы из сознания одного индивидуума в сознание другого»<sup>31</sup>. Следовательно, изучать значения – это значит изучать понятия в нашем сознании. «Широко распространенный пессимизм в отношении данных понятийного характера, – пишет Чейф, – во многом проистекает из укоренившегося скептицизма по отношению к интроспекции, или самонаблюдению, как методу научного исследования. Если понятия находятся в нашем сознании, то именно там их и следует искать, но поступать таким образом означало бы навлечь на себя анафему со стороны бихевиористски настроенных исследователей недавнего прошлого»<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> Хакен Г., Хакен-Крелль М. Тайны восприятия. М., 2002. С. 8.

<sup>29</sup> Кацнельсон С. Семантико-грамматическая концепция У.Л. Чейфа // Чейф У. Значение и структура языка. М., 1975. С. 407.

<sup>30</sup> Чейф У. Значение и структура языка. М., 1975. С. 76.

<sup>31</sup> Там же. С. 91.

<sup>32</sup> Там же. С. 93.

Но что же собой представляют эти так называемые понятия, которые Чейф с такой легкостью обнаруживает в собственном сознании путем интроспекции. Каков способ их бытия? На этот вопрос мы получаем достаточно определенный, хотя и несколько обескураживающий ответ. «Что же касается понятий, – пишет автор, – то они находятся глубоко внутри нервной системы человека. Можно предположить, что они обладают какой-то физической, электрохимической природой, но пока мы не в состоянии прямым образом использовать этот факт в лингвистических целях»<sup>33</sup>. Поскольку понятия неразрывно связаны со словом, то, очевидно, что и весь язык как некоторая целостность существует в глубинах нашей нервной системы в форме каких-то физических или химических процессов. Неясно, правда, зачем нужно такое решение, если лингвистика не способна пока использовать это в своих целях. Настанет ли вообще такое время, когда она будет это использовать? А потом неужели можно изучать или даже просто фиксировать наличие подобных процессов путем интроспекции?

Очень любопытна полемика с бихевиоризмом, в которую тут же вступает Чейф. Эмпирическая наука, утверждают бихевиористы, не может довольствоваться методикой, при которой человек заглядывает в свое сознание, причем каждый в свое собственное. «А почему бы и нет? – настаивает Чейф. – Подразумевается, что каждый найдет нечто другое, что умы различных носителей языка не содержат ничего принципиально общего. Если бы это было так, то как мог бы язык выполнять те функции, которые он явно выполняет? Язык дает возможность говорящему брать понятия, находящиеся в его собственном сознании, и вызывать эти понятия в сознании своего слушателя. Звуки, которые передаются от него к слушателю, как правило, не порождают новых понятийных единиц в сознании последнего. Они активизируют уже имеющиеся там понятия, понятия, которые являются общими для говорящего и слушающего»<sup>34</sup>. Итак, интроспекция возможна, ибо, как полагает Чейф, в сознании разных людей мы находим одни и те же понятия. А почему они одни и те же? Кто их, образно говоря, «синхронизировал»? Соссюр отрицал наличие какой-либо языковой субстанции, то у Чейфа она налицо в виде физических или электрохимических процессов в нашем мозгу. Неясно только, почему эти процессы так согласованы, что можно говорить об одних и тех же понятиях у разных носителей языка. Либо язык есть нечто биологически наследуемое, либо существует какой-то социальный механизм, обеспечивающий эту согласованность? А, может быть, этот социальный механизм и есть язык? Если так, то нам необходима вовсе не интроспекция, а какие-то другие методы. Такого вопроса Чейф не ставит.

Хотя Чейф, казалось бы, противостоит Н. Хомскому, последний в своем курсе лекций «Язык и проблемы знания», прочитанном в 1987 году, формулирует аналогичные установки. Вот что он пишет по этому поводу: «Человек, говорящий на каком-либо языке, развил определенную систему знаний, представленную тем или иным образом в его сознании и в конечном счете в мозгу в виде какой-то физической конфи-

<sup>33</sup> Там же. С. 92.

<sup>34</sup> Там же. С. 93.



гурации. Проводя исследования в этом направлении, мы сталкиваемся с рядом вопросов, и среди них следующие:

1. Что это за система знаний? Что находится в сознании/мозгу говорящего на английском, испанском или японском языке?
2. Как эта система знаний возникает в сознании/мозгу?
3. Как это знание используется в речи (или вторичных системах, таких, как письмо)?
4. Каковы физические механизмы, служащие материальной основой как для самой системы знаний, так и для ее использования?»<sup>35</sup>.

Лингвистика, согласно Хомскому, сама не занимается исследованием механизмов работы мозга, но она подготавливает для этого некоторую проблемную базу. «Как только лингвист сможет дать ответы на вопросы 1,2 и 3, ученый, занимающийся проблемами мозга, сможет начать исследование физических механизмов, которые проявляют свойства, вскрытые абстрактной лингвистической теорией. Без ответов на эти вопросы исследователи мозга не знают, чего они ищут; в этом отношении они работают вслепую»<sup>36</sup>. В подтверждение своей точки зрения Хомский проводит аналогию с развитием химии. Лингвистика и физиология мозга, с его точки зрения, относятся друг к другу примерно так, как химия и квантовая механика.

«Это обычное явление в естественных науках, – пишет он. – Так, химия XIX века занималась свойствами химических элементов и строила модели химических соединений (например, бензольного кольца). Она разработала такие понятия, как валентность, молекула и периодическая система элементов. Все это делалось на абстрактном уровне. Как все это могло быть связано с более фундаментальными физическими механизмами, было неизвестно, и на самом деле было много споров о том, обладают эти понятия какой-либо «физической реальностью» или же они всего лишь удобные мифы, придуманные для того, чтобы с их помощью упорядочить данные опыта. Это абстрактное исследование ставило проблемы перед физиками: раскрыть физические механизмы, которые проявляют эти свойства. Замечательные успехи физики XX века давали все более изощренные и убедительные решения этих проблем в поисках, которые, по мнению некоторых, уже близки к «окончательному и полному ответу».

Изучение сознания/мозга сегодня было бы полезно осмыслить сходным образом. Когда мы говорим о сознании, мы рассуждаем, абстрагируясь от пока еще неизвестных физических механизмов мозга, подобно тем, кто говорил о валентности кислорода или бензольном кольце, абстрагируясь от физических механизмов, тогда еще неизвестных. Точно так же, как открытия химиков подготавливали почву для последующего изучения механизмов, лежащих в их основе, сегодня открытия лингвиста-психолога подготавливают почву для последующего изучения механизмов мозга, – изучения, которое при отсутствии такого понимания, выраженного на абстрактном уровне, обречено блуждать в потемках, не зная, чего оно ищет»<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Хомский Н. Язык и мышление. Язык и проблемы знания. Благовещенск, 2000. С. 125.

<sup>36</sup> Там же. С. 127.

<sup>37</sup> Там же. С. 128.

Хотелось бы подчеркнуть следующее: 1. Язык, по Хомскому, это некоторая система знаний, представленная «в конечном счете в мозгу в виде какой-то физической конфигурации». 2. Если Соссюр всячески подчеркивает своеобразие объекта лингвистики по сравнению с естественными науками, то Хомский, напротив, ищет и находит достаточно прямые аналогии. Я лично всячески приветствую такого рода аналогии, но постараюсь в дальнейшем показать, что аналогии Хомского неудачны.

## 2. «Третий мир» Карла Поппера

Вспомним теперь совсем другую и, я бы сказал, грандиозную и впечатляющую попытку решить проблему способа бытия семиотических объектов. Это концепция «третьего мира» К. Поппера. Согласно этой концепции, существуют три разных мира: есть мир физических объектов, есть субъективный мир ментальных состояний и есть особый, третий мир объективного знания. Если кто-либо говорит, что он знает биографию Фердинанда де Соссюра, он фиксирует тем самым свое субъективное состояние. Но если мы утверждаем, что предсказания современной квантовой электродинамики полностью согласуются с экспериментальными данными, то квантовая электродинамика и экспериментальные данные выступают как некоторое объективное знание, как представители третьего мира. Научные теории, проблемы и проблемные ситуации, как и сам язык, который их фиксирует, – все это относится к третьему миру. Он представлен книгами, библиотеками, музеями, т.е. существует в некоторой овеществленной форме.

Для разъяснения своей точки зрения Поппер использует биологические аналогии. Есть жизнедеятельность животных, а есть продукты этой жизнедеятельности (паутина пауков, гнезда птиц, хатки бобров...), которые существуют сами по себе. Именно эти последние и представляют собой аналог третьего мира. Поппер всячески подчеркивает, что изучение такого рода «объективных структур» – это задача более фундаментальная, чем исследование самих процессов жизнедеятельности. Затем он продолжает: «Высказанные соображения могут быть, конечно, применены и к продуктам *человеческой* деятельности, таким как дома, орудия труда или произведения искусства. Особенно важно для нас то, что они применимы и к тому, что мы называем “языком” и “наукой”»<sup>38</sup>. Язык, следовательно, в отличие от речи, – это полноправный представитель третьего мира.

Но перейдем к самому главному. Что же собой представляют названные выше представители третьего мира, каков способ их существования? Поппер рассматривает этот вопрос в основном на примере книг. Книга, с его точки зрения, вовсе не обязательно предполагает читателя, она остается книгой и в том случае, если ее никто никогда не читал. В такой же степени, например, как осиное гнездо остается осиным гнездом, даже если в нем никогда не жили осы. Главное, что книга в принципе может быть прочитана и понята. «Именно возможность или потенциальность некоторой вещи быть понятой, ее диспозиционный характер быть понятой и интерпретированной, или неправильно понятой и неправильно интерпретированной, делает ее

<sup>38</sup> Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 448.

книгой. И эта потенциальная возможность или диспозиция книг могут существовать, не будучи когда-либо актуализированными или реализованными»<sup>39</sup>.

Сказанное означает, что представители третьего мира – это просто особые предметы (тексты), которые, как и любые предметы, обладают определенными свойствами. Специфика их в том, что в число этих свойств входит способность быть понятыми и интерпретированными. Казалось бы, такой подход предоставляет гуманитарным наукам возможность сохранить свой объект исследования, не прибегая к помощи физиологов. Но тут как раз мы и сталкиваемся с проблемой, на которую неоднократно указывал Фердинанд де Соссюр: в силу произвольности языкового знака текст не обладает никакими атрибутивными характеристиками, он не есть субстанция. Птичье гнездо в силу своей материальной, субстанциональной природы, пригодно для птицы, но непригодно для собаки или бобра. А последовательности звуков или пятен на бумаге сами по себе могут обозначать все, что угодно, или ничего не обозначать. Мы пока не нашли субстанцию знания.

И все же, научные или литературные произведения доступны нашему изучению, прежде всего в виде текстов. Мы не хотим при этом сказать, что произведение и текст совпадают. Рукопись книги или статьи может сгореть, но было бы странно утверждать, что сгорело знание или роман. Мы не скажем так даже в том случае, если рукопись существовала в единственном экземпляре и ее невозможно восстановить. Это значит, что каждый из нас интуитивно различает текст и произведение, интуитивно чувствует, что за текстом «кроется» нечто, не совпадающее с ним по материалу и неспособное образовывать химические соединения с кислородом. Что это такое, какова его природа? Текст становится знанием или литературным произведением только в силу нашей способности понимания. Надо, следовательно, объяснить эту человеческую способность. Мы при этом вовсе не толкаем гносеолога и семиотика к постановке совершенно бесперспективной и тупиковой для них задачи изучения электрохимических процессов в нервных клетках человека. Разумеется, нет. Без этих процессов человек не мог бы мыслить, не мог бы оперировать понятиями и не мог бы понимать текст. Это так. И, тем не менее, не в них в первую очередь следует искать разгадку природы знания. Дело в том, что понимание того или иного текста – это отнюдь не только индивидуальный акт. Люди, включенные в определенный социокультурный контекст, понимают один и тот же текст примерно одинаково. Должны, следовательно, существовать какие-то объективные механизмы, обеспечивающие общезначимый, социальный характер понимания, механизмы, согласовывающие, организующие поведение людей в их отношении к отдельным знакам или тексту. Эти механизмы, которые мы в дальнейшем будем рассматривать как механизмы социальной памяти, и должны стать основным объектом изучения, выступая при этом по отношению к исследователю как нечто внешнее и от него не зависящее. Именно здесь, как нам представляется, следует искать ответ и на вопрос о способе бытия тех имплицитных правил, о которых пишут Н. Хомский и

---

<sup>39</sup> Там же. С. 451.

Д. Слобин, и на вопрос об онтологическом статусе семиотических объектов вообще.

### **Бытие социальных норм**

Вернемся теперь к авторам, с высказываний которых мы начинали эту главу. Я имею в виду американских литературоведов Уэллека и Уоррена. Мне представляется, что их позиция вполне заслуживает внимания.

Разбирая вопрос о способе бытия, они выделяют следующие точки зрения: 1. Литературное произведение — это строки, нанесенные чернилами на бумагу, тушью на пергамент или резцом — на камень. 2. Литературное произведение — это последовательность звуков, издаваемых тем, кто его читает или декламирует. 3. Литературное произведение — это опыт читателя, оно идентично тем душевным состояниям или процессам, которые наблюдаются, когда мы читаем или слушаем литературное произведение. 4. Литературное произведение — это опыт самого автора, осознанный и представленный в виде авторского замысла или бессознательный. 5. Литературное произведение — это социальный опыт, это опыт, общий всем, кто воспринимает данное произведение самих авторов? Литературное произведение, с их точки зрения, должно быть рассмотрено как «совокупность некоторых норм, связанных отношениями структуры и лишь частично раскрывающихся в непосредственном опыте... читателей. Каждый отдельно взятый опыт (чтение, исполнение и т. д.) представляет собой лишь более или менее удачную попытку уловить и выразить эту совокупность норм и критериев»<sup>40</sup>. Под «нормой» при этом понимаются «те имплицитные нормы, которые необходимо вычленишь из каждого индивидуального опыта восприятия художественного произведения и которые в совокупности составляют истинное произведение искусства как определенную целостность»<sup>41</sup>. Мы попадаем, казалось бы, в уже знакомую нам сферу имплицитных правил, существование которых отмечают Хомский и психолингвисты. Есть, однако, и существенные различия. Р. Уэллек и О. Уоррен тоже в свою очередь проводят аналогию с языком, но подчеркивают при этом социальный, intersubъективный характер искомых норм и правил. «Система языка... — это совокупность правил и норм, взаимоотношения и действие которых мы можем проследить и описать, не нарушая присущей данной системе соотнесенности и целостности, хотя в речи отдельных индивидуумов мы сталкиваемся со всевозможными отклонениями от системы, нарушениями ее и неполнотой ее элементов. В этом смысле произведение словесного искусства в том же положении, что и язык. Как индивидуумы, мы никогда не сможем выразить заключенную в нем систему полностью, точно так же как полностью и в совершенстве использовать язык»<sup>42</sup>. Это возможно ли сказать, что приведенная точка зрения есть решение вопроса? Авторы сами понимают, что нет. «Понимание литературного произведения как стратифицированной системы норм, — пишут они, — оставляет открытым вопрос о том, каков же способ бытия этой системы.

<sup>40</sup> Уэллек Р. Уоррен О. Теория литературы. М., 1978. С. 154.

<sup>41</sup> Там же. С. 164.

<sup>42</sup> Там же. С. 166.

Чтобы найти верное решение, следовало бы затронуть здесь полемику номинализма и реализма, ментализма и бихевиоризма – короче говоря, весь круг основных проблем эпистемологии»<sup>43</sup>. Авторы не идут, однако, по этому пути, стремясь, по их словам, только к тому, чтобы избежать крайностей: крайнего платонизма и крайнего номинализма. Свою позицию они резюмируют в следующем отрывке, который, несмотря на его длину, стоит привести полностью. «Таким образом, художественное произведение предстает как обладающий особой онтологической природой объект познания *sui generis*. Оно не является по своей природе ни чем-то существующим в самой реальной жизни (физическим, наподобие монумента), ни чем-то существующим в душевной жизни (психологическим, наподобие тех реакций, что вызываются светом или болью), ни чем-то существующим идеально (наподобие треугольника). Оно представляет собой систему норм, в которых запечатлены идеальные понятия intersубъективного характера. Эти понятия, очевидно, существуют в совокупности общественных идей и изменяются вместе с изменениями данной совокупности; они открываются нам только через индивидуальный душевный опыт и опираются на звуковую структуру тех лингвистических единиц, из которых состоит текст произведения»<sup>44</sup>.

Итак, литературное произведение не является ни чем-то физическим, ни чем-то психологическим, ни чем-то существующим наподобие идеальных объектов науки, Что же это за образование, каков его онтологический статус? Авторы не отвечают на этот вопрос с достаточной определенностью, и их рассуждения хорошо иллюстрируют сложность проблемы и хаос, который в настоящее время здесь наблюдается. И все же некоторый шаг вперед здесь налицо: искать ответ, вероятно, надо на пути анализа социальных норм. Мы можем при этом ставить перед собой две задачи: 1. Выявить содержание этих норм и сформулировать его в явной форме, т. е. в форме более или менее однозначно понимаемых правил; 2. Выяснить, как эти нормы были «записаны» до нашей их расшифровки, в каком виде они существовали сами по себе. Очевидно, что эти две задачи не совпадают друг с другом. Нас в дальнейшем в первую очередь будет интересовать вторая из этих задач. Вопрос о способе бытия семиотических объектов трансформируется, таким образом, в новый вопрос: где и как существуют социальные нормы? Именно этим мы и займемся в следующей главе.

---

<sup>43</sup> Там же. С. 167.

<sup>44</sup> Там же. С. 170.